

Порой «мы» применяется для покаянных формул безлично-обобщенной «большевицкой самокритики», нивелирующей индивидуальную провинность Сталина — например, его ответственность за постыдно скромный размах репрессий: «Сама жизнь не раз сигнализировала *нам* о неблагополучии в этом деле. Шахтинское дело было первым серьезным сигналом».

Зато сходные маневры со стороны своих политических противников Сталин незамедлительно пресекает:

«Зиновьев говорил в этой цитате о том, что «мы ошиблись». Кто это мы? Никаких «мы» не было и не могло быть тогда. Ошибся, собственно, один Зиновьев».

К себе он относится куда снисходительнее. Правда, в 20-е годы он изредка кается в своих персональных грехах («Я никогда не считал и не считаю себя безгрешным. Я никогда не скрывал не только своих ошибок, но и мимолетных колебаний») — главным образом, в излишнем гуманизме и добродушии: «Возможно, что я тогда передобрал и допустил ошибку»; но, как отмечают все биографы, в целом неизменно преобладает это его хорошо известное стремление растворить «ошибки» в необъятном лоне партии, свалить вину «на стрелочника»¹⁹. Единичные формулы индивидуального покаяния могут звучать следующим образом: «Эту ошибочную позицию я разделял тогда с другими товарищами по партии»; «как один из членов ЦК я также отвечаю, конечно, за эту неслыханную оплошность».

Однако и свое всевластие генсек обычно выдает за выражение партийного или всеобщего «мы». Все выглядело так, будто, прекрасно разбираясь именно в психологической ситуации — по крайней мере, в эмоционально-интуитивном основании любой личности, ее «нижнем этаже», — и строя на этом понимании свою высокоэффективную «кадровую политику», Сталин в то же время парадоксально неспособен к осознанию собственно персонального начала, индивидуальной бытийности человека — и потому с такой невероятной легкостью то смешивает его с социальной группой, то резко вычлняет из нее. И точно так же, несмотря на весь свой ревнивый и мнительный нарциссизм, он без труда отрекается от собственного «я», обволакивая его бесцветным покровом коллектива. Эта двойственность сказывается и в быту: мы знаем о его угрюмой нелюдимости, болезненно проступившей, например, в годы туруханской ссылки, — но в другие времена он умел контрастно сочетать мизантропическое затворничество и скотскую грубость с повышенной контактностью, умением очаровывать и привлекать к себе множество людей. Необходим ему был и простой декорум. По данным Волкогонова, он очень редко встречался с посетителями наедине — предпочитал находиться в обществе Молотова, Ворошилова и прочих «товарищей», обычно выполнявших, однако, работу немых статистов, роль коллективистского фона²⁰.

Мне кажется, Сталин — в некотором согласии с теорией «нарциссического растройства», развернутой Кохутом²¹ — обладал каким-то гуттаперчевым чувством собственной индивидуальности: она то сжималась до эгоцентрической точки, то расширялась в безудержной экспансии, абсорбирующей любую общность. Если его «мы» зачастую предстает только ритуальной завесой для тиранического «я», то и последнее, в свою очередь, нередко подвергается деперсонализации. Более того, как ни странно это звучит, «я» далеко не сразу обретает свою, так сказать, соб-

ственно личностную адекватность в его ранних писаниях. Сама истина, вещая его анонимными устами, нерешительно застывает на полпути к персонификации. В одной из первых своих работ, «Как понимает социал-демократия национальный вопрос?» (1904), Сталин напрямую отождествил себя с логикой и учением марксизма. Полемизируя с печатным органом грузинских федералистов «Сакартвело» и, как всегда, стараясь унижить противника, он снисходительно замечает:

«Я готов даже оказать ему [«Сакартвело». — М. В.] помощь в деле разъяснения нашей программы, но при условии, чтобы оно: 1) собственными устами признало свое невежество; 2) внимательно слушало меня и 3) было бы в ладу с логикой».

Единственное, что слегка подрывает эту величавую менторскую позицию, — тот факт, что свою заметку автор публикует без подписи (т. е. без всякого псевдонима). Кого же тогда слушать невежественным оппонентам? Сварливый призрак марксистской истины еще некоторое время продолжает блуждать в конспиративных туманах, не решаясь приоткрыть свой лик. В брошюре «Коротко о партийных разногласиях» (1905) Сталин вновь выступает с обширным набором наставлений, преподнося их все от того же таинственного первого лица. Однако начинающего публициста, конечно, сильно заботит атрибуция текстов, и вскоре он находит удивительное, но вполне характерное для него компромиссное полурешение. Очередную свою публикацию — «Ответ “Социал-демократу”», Сталин предваряет словами, подчеркивающими его индивидуальное авторство:

«Прежде всего я должен извиниться перед читателем, что запоздал с ответом. [С годами он так же клиширует этот покаянный эпистолярный зачин, как и последующую ссылку на свое подчиненное положение в составе «мы».] Ничего не поделаешь: обстоятельства заставили работать в другой области, и я был вынужден на время отложить свой ответ, сами знаете: мы не располагаем собой.

Я должен еще заметить вот что: автором брошюры «Коротко о партийных разногласиях» многие считают Союзный комитет, а не отдельное лицо. Я должен заявить, что автором этой брошюры являюсь я. Союзному комитету принадлежит только редакция ее».

В дальнейшем у него появятся уточнения обратного свойства: такая-то статья принадлежит не ему лично, а написана по поручению ЦК; с другой стороны, он способен присвоить себе авторство коллективных, хотя и отредактированных им, опусов. Все это лишний раз показывает, насколько условной оставалась для него преграда между анонимным «мы» и «я», растекающимися на всю партию. Но пока, в этот кавказский период, мы сталкиваемся с еще более причудливой формой атрибуции: энергично отстаивая в «Ответе» свою публицистическую индивидуальность, Сталин снова оставляет статью без подписи²².

Он вообще обожал безличные конструкции, безымянные ссылки: «говорят... утверждают». Но эта манера дополняется у него обратной готовностью победоносно атрибутировать абстрактное «говорение» конкретным лицам, будто прорезающимся из серого марева. Естественно, что охотнее всего он применяет этот метонимический прием в криминальных видах, уличая какого-нибудь мелкого оппонента в том, будто тот излагает взгляды Троцкого, Бухарина или другого влиятельного ересиарха. Технология навета нам уже известна. Сперва Сталин выявляет созвучия между чьей-либо «ошибкой» и соответствующей антимарксистской теорией, а потом, верный своей нелюбви к аналогиям, подменяет сопоставление отождествлением.

Правда, и сама личность оппозиционеров, согласно марксистским идеологемам, предстает в сталинском изображении лишь отпечатком или отголоском того или иного враждебного класса или социальной группы, — но весь тайный интерес и вся интрига сосредоточены для него именно в этой индивидуальной сфере: «Лица, конечно, играют известную роль», — вскользь замечает он, готовясь к разгрому Бухарина, и прибавляет: «Вопрос о лицах не решает дела, хотя и представляет

несомненный интерес».

Достигнув неизмеримо большей власти, чем Гитлер или Муссолини, Сталин, в отличие от них, предпочитал, как известно, вместо «я» говорить «мы». В этом смысле он узурпировал и коллективистский пафос «богостроителей». С формальной точки зрения тут взаимодействуют два подхода. Согласно принципу *pars pro toto*, он как бы собирает, аккумулирует в себе волю олицетворяемого им целого и потому замещает его, но, с другой стороны, Сталин одновременно остается всего лишь частицей абстрактного социума. В первом случае его «мы» — массовидное инкогнито царского величия («мы, Николай Второй...»), во втором — знак марксистской принадлежности к этой же массе. Верный своей склонности к раздвоению, «двурушничеству», он словно и отождествляется с группой, и смотрит на нее извне. Попытаемся как-то очертить, определить эту странно овнешненную позицию.